Карина Демина

Хельмова дюжина красавиц.
Ненаследный князь

Отношение общества к наличию или отсутствию
у вас хвоста во многом определяется модой.

Хельмова дюжина красавиц

Карина Демина

Хельмова дюжина красавиц. Ненаследный князь

«АЛЬФА-КНИГА»

2014

Демина К.

Хельмова дюжина красавиц. Ненаследный князь / К. Демина — «АЛЬФА-КНИГА», 2014 — (Хельмова дюжина красавиц)

Тяжела жизнь королевского актора.Шалят душегубы, не спят лиходеи, не знает отдыха и ненаследный князь, Себастьян Вевельский, волей Богов наделенный удивительным даром – изменять внешность. За многие годы службы не единожды приходилось ему примерять чужую личину, однако нынешнее задание и для него стало испытанием. Волей генерал-губернатора и собственного любимого начальства предстоит Себастьяну поучаствовать в конкурсе красоты «Познаньска дева» и вычислить колдовку силы небывалой, пока не подобралась она к королевичу, не застила глаза и разум черною волшбой да не развязала новую войну.

© Демина К., 2014
© АЛЬФА-КНИГА, 2014

Содержание

Глава 1, 5
Глава 2, 19
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Карина Демина
Хельмова дюжина красавиц. Ненаследный князь

Глава 1,
по сути своей являющаяся прологом, в которой повествуется о младенческих годах, отрочестве и юности ненаследного князя Вевельского

Родила княгиня в ночь…
Из семейных хроник князей Вевельских

Много позже, на семейном совете, состоявшемся шестого травня года четыре тысячи двадцать пятого от Сотворения мира, было решено, что во всем виновата черная коза, с которой княгиня Вевельская имела неосторожность столкнуться на прогулке.

Откуда бы знать ей, девице благородного происхождения, половину жизни проведшей в тиши и уюте закрытого аглицкого пансиона в окружении столь же благородных и немочных девиц, что брюхатой бабе, ежели встретится ей на пути коза черной масти, надлежит трижды повернуться через левое плечо и, скрутивши кукиш, сунуть козе под нос. А для верности еще плюнуть, желательно промеж рогов.

Иначе быть беде!

Выскочит из козьего уха дух-перевертыш, да и вселится в ребятенка.

– Глупости какие вы гово-г-ите, – прелестно картавя, сказала княгиня. И поднесла к глазам надушенный платочек. – Гебенок пгосто в деда пошел.

Она вздохнула и, кинув взгляд на молчаливого супруга, лишилась чувств. Так, на всякий случай. Впрочем, пассаж этот остался незамеченным: к обморокам драгоценной Ангелины Тадеуш, князь Вевельский, привык. В данный момент его больше занимала не супруга, но новорожденный сын. Он рассматривал наследника в лорнет, то поднося его к младенческой макушке, кучерявой и вызывающе черной, то прижимая к глазам. Младенец лежал тихо, не сводя с отца пристального, чересчур уж внимательного взгляда, каковой новорожденным вовсе был несвойственен. Хотя, признаться, познания Тадеуша Вевельского в новорожденных ограничивались исключительно теорией, но ведь разумному человеку и теории довольно для правильных выводов.

Знать бы еще, каковые выводы были правильны.

– Ах, – вздохнула, возвращаясь в чувство, княгиня и томным отрепетированным жестом прижала руку ко лбу.

Она была красива: светловолоса и синеглаза; и ни болезненная бледность, ни испарина, выступившая на высоком челе княгини, не портили этой красоты. Глубокие тени, залегшие под глазами, и те придавали взору глубину и отрешенность.

– Покажите его… – шепотом попросила она, и кормилица поспешила исполнить просьбу.

– В деда, опгеделенно, в деда… тот тоже был… бгюнетом. – Княгиня откинулась на подушки.

Нет, допустим, князь Вевельский смутно припоминал, что дед его драгоценной супруги и вправду был черноволос, но горба, не говоря уже о хвосте, он точно не имел. Тадеуш закрыл глаза, надеясь, что упомянутая часть тела исчезнет. И открыл.

Не исчезла.

Младенец же смотрел по-прежнему строго, не моргая. И губенки поджал, точно не одобрял этакой родительской нерешимости. Из кружевных пеленок, в кои обрядили долгожданного наследника рода князей Вевельских, помимо лысенького хвоста и кучерявой головки выглядывали розовые младенческие пятки. И кулачки, сжатые крепко, словно ребенок вознамерился до последнего отстаивать свое право на хвост.

– Коза энто, – с уверенностью повторила кормилица, женщина простая, деревенская, взятая в дом по рекомендации. Она была дородна, белолица и имела дурную привычку щипать щеки, искренне полагая, будто бы румянец наилучшим образом свидетельствует об исключительном ее здоровье и молочности. – Хельмово отродье! А хвост… да того хвоста – топором разок тюкнуть.

Хвост она легонько сжала пухлыми пальцами, точно примеряясь. И младенец вздохнул, закрыл глаза и закричал.

– От же ж даликатны, – восхитилась кормилица и для важности добавила: – Як пански цуцик…

Женщина взяла юного княжича на руки и, вытащив белую, какую-то румяную с виду грудь, сунула ее в раззявленный рот.

– С рогами Маша, – глубокомысленно произнесла она, проведя по пуховым волосикам, – а все одно наша…

Младенца нарекли Себастьяном в честь того самого аглицкого деда, которого весьма кстати вспомнила панна Ангелина. Первый месяц его жизни ознаменовался чередой супружеских скандалов, кои, впрочем, сошли на нет после того, как приглашенный ведьмак раз и навсегда опроверг подозрения вдовствующей княгини, чем немало ее опечалил.

– Все одно, виновата она. – Катарина Вевельская вооружилась веером, нюхательными солями и чувством оскорбленного достоинства, которое требовало немедля удалиться из негостеприимного дома, где родной сын отвернулся от матери за-ради какой-то аглицкой девицы сомнительных добродетелей. Всякому известно, что воистину добродетельные девицы хвостатых младенцев не рожают.

…о приданом оной девицы, немалом и более чем своевременном, она предпочла забыть.

– Ах, матушка, вам бы все виноватых искать. – Тадеуш Вевельский тешил себя надеждой, что обе женщины, с мнением которых он вынужден был считаться, когда-нибудь да найдут общий язык.

И заодно подскажут, как быть с наследником.

Мелькала трусливая мыслишка, что было бы весьма удобно, подтверди ведьмак матушкины опасения. Окажись Себастьян не родным сыном князя, тот получил бы развод или хотя бы возможность отказать ребенку в имени…

…а приданое оставить.

– Гебенок выгастет. – Ангелина Вевельская в волнении картавила более обычного и, откинувшись в кресле, утопая в розовых атласных подушках, коими ее обложили для пущего комфорта, мяла платочек. Пропитанная маслом мяты и лемонграсса, ткань источала резкий аромат, который заставлял свекровь морщиться и с мученическим видом закатывать очи. – И, быть может, хвост отвалится.

Вины за собой Ангелина Вевельская не видела и на мужа обижалась всерьез. Лишь исключительное воспитание, полученное в пансионе, удерживало ее от банальнейшей истерики с битьем посуды. И начала бы она с того преотвратительного фарфорового сервиза на двенадцать персон, преподнесенного к свадьбе дражайшей свекровью. Сервиз был покрыт толстым слоем позолоты и самим своим видом, вызывающей роскошью, уродством отравлял Ангелине жизнь.

– А если не отвалится, – свекровь впервые соизволила одарить невестку почти одобрительным взглядом, – его можно будет отрезать. В конце концов, зачем человеку хвост?

Отрезать хвост не вышло.

Семейный доктор, к которому Тадеуш Вевельский обратился со столь деликатной просьбой, долго оглаживал бородку, щупал хвост, несмотря на явное неудовольствие юного Себастьяна, а потом со вздохом признал, что отрезать-то, конечно, можно, но за последствия он не ручается.

– Следует признать, что сей рудимент отменнейшим образом иннервирован. – Доктор нежно провел по мягкому темному пушку, покрывавшему не только хвост, но и всего младенца. Пушок пробился на третий месяц жизни и покрыл смуглую, желтоватую, точно подкопченную кожу Себастьяна ровным слоем. – Резекция его вызовет сильнейший шок у пациента…

Пациент заорал.

Голосом он обладал громким; и Тадеуш скривился; нянька же привычно сунула руку за пазуху, нащупывая грудь, но была остановлена князем.

Доктор же, отпустив хвост, который тотчас обвил ножку младенца, продолжил:

– А шок, весьма вероятно, вызовет exitus letalis[1].

Милейший Бонифаций Сигизмундович поправил пенсне, которое носил не из-за слабости зрения, но в силу собственной убежденности в том, что оная слабость в глазах великомножных пациентов напрямую связана с ученостью. И хоть бы во всем княжестве не нашлось человека, который посмел бы вслух усомниться в учености Бонифация Сигизмундовича, он по-детски продолжал стесняться отменного, как и у всех поколений докторов Пшеславских, зрения. И, скрывая стеснение, робость, вовсе не свойственные его давным-давно почившему батюшке, речь вел медленно, густо пересыпая умными словами, а то и вовсе латинскими фразами.

– …или приведет к существенной задержке психического развития, – завершил Бонифаций Сигизмундович и добавил веско: – Хвост чрезвычайно важен для формирования modus operandi[2].

Он выставил пухлый указательный палец, подчеркивая важность последних слов. И произнес:

– Casus extraordinarius![3]

Признаться, пристрастие любезнейшего доктора к латыни ввергало князя Вевельского в тоску, напоминая о собственном образовании, каковое ему, несомненно, было дадено – да и, помилуйте, разве возможно князю необразованным быть? – однако дадено как-то поверху, куце. Отчасти виной тому был непоседливый норов княжича, с которым не способны были совладать ни уговоры, ни нотации, ни даже розги – а до них дело доходило частенько; отчасти – малые способности и отсутствие интереса к наукам. Как бы там ни было, но в голове, украшенной пятизубым венцом князей Вевельских, не задержались ни латынь, ни греческий, ни даже вновь вошедший в моду гишпанский. Впрочем, врожденный шляхетский гонор не позволил Тадеушу и ныне признаться в собственной слабости, понуждая к притворству. Князь провел ладонью по светлым волосам и, чуть склонив голову, ответил:

– Amen.

Он понял одно: хвост резать нельзя. И надежды на то, что отвалится, нет никакой.

– Не беспокойтесь. – Бонифаций Сигизмундович искренне переживал за своих пациентов и, сделав ребенку «козу», обратился к князю: – С горбиком мы поработаем, выправим

---

[1] Летальный исход.

[2] Букв. «образ действия» (*лат.*); в психологическом контексте термин используется для описания чьих-либо поведенческих привычек.

[3] Экстраординарный случай.

осанку. А что до хвоста, то вспомните, пан Тадеуш, historia est magistra vitae[4]. В хрониках описан минимум один подобный случай. К слову, с вашим же предком, Мстивойтом Ярославовичем. Ему хвост нисколько не помешал занять Гжуславский престол.

Пример оказался удачен. Король Мстивойт, пусть и правил всего-то два года, в представлении Тадеуша Вевельского был человеком исключительных достоинств, каковые теперь просто-таки обязаны были проявиться в Себастьяне. И княжье семейство, затаив дыхание, принялось ждать от младенца великих свершений. Младенец орал, гадил и из всего семейства выделял лишь толстую кормилицу, да и ее, верно, почитал бесплатным приложением к груди; а ел он подолгу и с немалым аппетитом.

– Пгосто гебенку нужно вгемя, – убеждала себя и свекровь Ангелина Вевельская и с тайной надеждой поглаживала вновь округлившийся живот. Она искренне уповала, что нынешняя ее беременность разрешится благополучно и на всякий случай десятой дорогой обходила всех коз, независимо от их масти. А заодно уж воздерживалась и от козьего молока, и от сыра, каковой ей навязывала вдовствующая княгиня, вестимо, тем самым намекая на неудачного первенца…

– Вгемя и только вгемя. И все будет пгекгасно! – Ангелина сахарно улыбалась и гладила Себастьяна по черным вихрам; тот же хмурился и, стиснув в ручонках хвост – в последний месяц тот покрылся мелкой слюдяной чешуей, – взирал на матушку исподлобья. Заговаривать он не спешил, равно как и вставать на ноги, предпочитая передвигаться исключительно на четвереньках.

Рождение второго сына, светловолосого и синеглазого, лучезарного, как солнце на родовом щите князей Вевельских, примирило родителей с уродством старшего. И даже известие о том, что, невзирая на все усилия Бонифация Сигизмундовича, Себастьянов горб пошел в рост, было воспринято с должной долей смирения. Взяв на руки дитя, нареченное в честь деда уже по отцовской линии Лихославом, Тадеуш крепко призадумался и, с молчаливого согласия супруги, премного довольной что собой, что новорожденным, который выглядел именно так, как полагалось новорожденному, – розовым, глазастым и очаровательным, созвал врачебный консилиум. Итогом его стала некая бумага, которая признавала Себастьяна Тадеушевича, княжича Вевельского, негодным наследником по причине несомненного физического уродства, каковое засвидетельствовали пятеро докторов.

Бонифаций Сигизмундович был категорически не согласен, однако в кои-то веки с мнением его не посчитались. И Себастьян, урожденный и отныне ненаследный князь Вевельский, был вместе с нянькой отослан в деревню, где и провел последующие пятнадцать лет жизни.

Следует сказать, что родители, испытывая все же немалые угрызения совести, отчасти из-за совершенной по отношению к первенцу несправедливости, отчасти из-за собственной нелюбви, всячески пытались жизнь его скрасить. В поместье отправлялись учителя, ибо было писано, что ребенок испытывает немалую к учению тягу. Да и Тадеуш Вевельский, памятуя о собственном тайном позоре, строго-настрого велел розог не жалеть, но дать ребенку блестящее образование, не особо задумываясь, зачем оно в деревне.

Пускай будет. На всякий случай.

В итоге к десяти годам Себастьян весьма прилично читал и говорил по-латыни, знал еще четыре иностранных языка, включая греческий и родной матушкин аглицкий, что привело княгиню в немалое душевное волнение. Она слушала сына и смахивала слезы, повторяя:

– Пгелестно! Газве это не пгелестно?

Он обладал немалыми познаниями в географии, астрономии, ботанике и истории, каковая наука давалась ему нелегко, но врожденное упрямство князей Вевельских, а также завет

[4] История учит жизни (*лат.*).

отца и розги не позволяли Себастьяну отступить. Сам он не мог бы с должной уверенностью сказать, нравится ли ему учеба. Она вносила в размеренное и унылое его существование некоторое приятное разнообразие. Он с удовольствием слушал о звездах и землях, расположенных за границами поместья и Вевелевкой, деревенькой, испокон веков принадлежавшей княжьему роду. В иных местах Себастьяну бывать не доводилось, да и в Вевелевку он, признаться, сбежал сам, дабы убедиться, что за забором не край мира, но его продолжение. За побег был порот, что, впрочем, нисколько Себастьяна не огорчило.

Он, пусть и несколько замкнутый, остро чувствующий свою чуждость миру, обладал живым умом. И, взрослея, все четче осознавал, сколь сильно отличается от прочих людей. Положение его, несоразмерно более высокое, нежели учителей или дворни, не избавляло Себастьяна от тщательно скрываемых презрения и брезгливости. Он чуял их этаким гниловатым душком, который не способна была перебить кельнская вода. Рядом с родителями не становилось легче. И визиты их регулярные, на Вотанов день и именины, говоря по правде, тяготили Себастьяна необходимостью соответствовать неким иррациональным понятиям о приличиях. Оные сопряжены были с неудобной одеждой, скроенной по особым лекалам в жалкой попытке скрыть уродливый горб, с долгими и пространными речами, обязательными слезами княгини и резкими запахами ароматных масел, каковые носила за хозяйкой горничная. С брезгливостью во взглядах этой самой горничной, отцовского камердинера и прочих слуг, которым Себастьян старался не попадаться на глаза. Родные же братья – а их насчитывалось уже трое – досаждали чрезмерным вниманием.

– Мальчики иг-гают. – Княгиня по-прежнему картавила и придерживала рукой вновь округлый живот. Ей, отчаянно уставшей и от очередной беременности, от которой не спасли «тайные капли», и от родов, хотелось покоя.

И блистать.

Князь же, чувствуя перед женой вину – она, пусть и казавшаяся глуповатой, явно догадывалась о той рыжей актриске, которой Тадеуш Вевельский покровительствовал, естественно, не без собственной выгоды, – спешил соглашаться.

Играют.

И что за дело, если игры эти порой жестоки? Мальчишки же… воины… впрочем, Себастьян весьма быстро научился или избегать опасных встреч с братьями, или давать отпор. И если по первости ему частенько случалось быть битым, то с каждым новым визитом родни Себастьян креп, учился и годам к пятнадцати весьма ловко уже орудовал что шпагой, что простой палкой.

Однажды под руку ненаследного князя подвернулся дрын, и до того служивший веским аргументом в спорах с вевельскими дикими мальчишками, глухими к мирному латинскому слову, а вот дрын уважавшими крепко. Искусство фехтования дрыном произвело на братьев воистину неизгладимое впечатление, и Лихослав, прижимая локоть к разбитому носу, бросил уважительное:

– Придурок.

– От придурка слышу. – Себастьян дрын прислонил к забору и, сорвав лист подорожника, смачно плюнул на него. – На от. Возьми. Кровь остановит.

С той поры началась не то чтобы дружба, скорее уж младшие братья прониклись уважением к старшему, раздражавшему их не столько своим уродством, сколько излишней ученостью, каковую, к его чести, он не пытался выпячивать. Совместная охота на раков, которые в великом множестве водились в местной речушке и на хвост ловились куда охотней, чем на тухлое мясо, поспособствовала закреплению перемирия.

А тремя годами позже произошло событие, оставшееся для всего мира незамеченным, но во многом изменившее самого Себастьяна.

Он влюбился.

Яростно. Безоглядно. И навсегда, конечно, навсегда. Как еще влюбляться в шестнадцать-то лет? И объект его страсти, смешливая панночка Малгожата Беняконь, казался Себастьяну живым воплощением всех мыслимых и немыслимых достоинств.

Рыжеволосая и конопатая Малгожата прибыла в поместье с молчаливого попустительства княгини, решившей, что старший из шести ее отпрысков уже достиг того счастливого возраста, который именуется брачным, а следовательно, невзирая на уродство, представляет немалый интерес для незамужних девиц, точнее их родителей. Все ж таки Себастьян пусть и ненаследный, но князь.

Вевельский.

С правом изображать на родовом щите солнце и корону, носить венец о пяти зубцах и сидеть в королевском присутствии.

Естественно, как и многие иные матери, Ангелина Вевельская желала сыну исключительно добра, а потому к выбору вероятной невесты подошла со всем возможным тщанием. И пусть бы род Беняконь был не столь древен, равно как и небогат, но славился на редкость плодовитыми женщинами. Именно это обстоятельство и помогло Малгожате снискать симпатию княгини.

С Себастьяном же было вовсе просто. Капля внимания, которое показалось вполне искренним, и три грана приворотного зелья заставили юное сердце вспыхнуть.

Он потерял покой и сон. Стоило смежить веки, как перед внутренним взором вставали рыжие кудри Малгожаты, карие ее очи, кои он почитал колдовскими, и внушительных размеров бюст. Внимание к этой совершенно неромантической части тела Себастьяна смущало. И он, уже во сне, безуспешно пытался отвести взгляд, однако вновь и вновь проигрывал битву с самим собой. Бюст лез из декольте, точно опара из ставшего тесным тазика. Он волнительно вздымался при дыхании Малгожаты, а когда она вздыхала – а вздыхала она часто, тем самым выдавая тонкость душевной организации – и вовсе колыхался, отчего юное сердце ухало куда-то вниз. Должно быть, в желудок.

Просыпался Себастьян обессиленным.

Ко всему, случались по утрам иные казусы, заставлявшие его как никогда остро осознавать несовершенство собственного тела. Происходящее с ним представлялось чем-то уникальным: то ужасным, то, напротив, великолепным…

Быть может, все и закончилось бы предложением и пышной свадьбой, к вящему удовольствию княгини, которая задержалась в поместье, дабы отдохнуть, а заодно присмотреть за сыном, когда б не случайность.

Себастьян, снедаемый любовью, повадился писать стихи. И в глубине души подозревая, что поэтическим талантом природа его обделила, пагубной страсти предавался в саду, забиваясь в самые его глубины. Отчего-то музам нравился малинник.

В тот день Себастьян, вооружившись пером, чернильницей и разлинованной тетрадью, отчаянно бился над второй строкой. Первая, как и прочие первые строки, далась легко.

– Сраженный я стрелой Амура, – продекламировал он шепотом.

В голове было пусто.

Сердце привычно екало и замирало, перед внутренним взором стояли немалые достоинства Малгожаты Беняконь, а запах переспелой малины кружил голову. И, сунув кончик пера в ноздрю, Себастьян произнес:

– Сижу в кустах…

Чистая правда, но не рифмовалась. Да и то, помилуйте, где Амур, а где кусты… пусть и малина в этом году чудо как хороша: крупная, пурпурная, и каждая ягода – с ноготь величиной.

– В очах Малгожаты милой зрю Амур, – отмахнувшись от пяденицы, Себастьян попытался зайти с иной стороны. Но проклятый Амур и здесь скрутил кукиш, тот самый, который княгиня козе задолжала.

Не стихотворилось сегодня.

На месте ненаследного князя удержало исключительно природное упрямство, да еще страх вновь встретиться нос к носу с Малгожатой – а встречи подобные происходили куда как часто, и обстоятельство сие заставляло усомниться в том, что и вправду виной им исключительно случай. Впрочем, Себастьян не имел бы ничего против, ежели б каждый раз не терялся. Его вдруг сковывала проклятая немота; он начинал заикаться, краснел и, не в силах превозмочь слабость, поспешно ретировался.

В кусты.

В кустах страдать было легче.

И исстрадавшись, а может, просто притомившись на солнцепеке, ненаследный князь впал в дрему, из которой его вывел знакомый нежный голос:

– Ах, матушка, помилуйте! Я делала все, что вы говорили мне, но… я больше не могу так! Я его ненавижу!

Сердце замерло.

В этом голосе звучала обида, а любой, посмевший обидеть драгоценную Малгожату, представлялся Себастьяну существом, недостойным жизни. И подавив первый порыв выбраться из малинника – все ж таки неудобственно подслушивать, да и место для князя не самое подходящее, – Себастьян затаился.

Для чего?

А чтобы узнать имя злодея и вызвать его на дуэль. И там, пронзив черное сердце шпагой – а шпагой, по уверению учителя-гишпанца, Себастьян владел отменно, а потому в успехе своем не сомневался, – над телом поверженного врага объясниться, наконец, с возлюбленной.

Желательно стихами.

Сей самозародившийся план представлялся Себастьяну невероятно романтичным; и мысленно он уже вел очарованную его несказанной отвагой и благородством Малгожату к венцу. Но мечты разрушил суровый голос пани Беняконь:

– Успокойся, Малгожата! Это хороший вариант…

– Хороший? – перебила матушку Малгожата. – Да он же урод, каких поискать!

– Зато князь!

– Ненаследный, – вредно уточнила Малгожата. – И мне не с титулом жить! Представь, если дети в него пойдут, мало что горбатые, кривые, так еще и с хвостами.

В первое мгновение Себастьяну показалось, что он ослышался.

Во второе, что свет померк.

В третье родились стихи… и он, сам не владея собой, выбрался из малинника, встал перед возлюбленной, чьи злые слова пронзили сердце насквозь – именно так, а не иначе, ведь если не насквозь, то Себастьян, может статься, выживет. Он же желал умереть, сгорев в пламени страсти прямо тут, на посыпанной речным песком дорожке, сквозь которую проросли одуванчики.

– Сраженный я стрелой Амура, – продекламировал он, глядя в испуганные глаза Малгожаты, – не замечал, что девка – дура…

И, развернувшись, гордым чеканным шагом направился к дому, там, запершись в своей комнате, ключи от которой имелись единственно у нянюшки, Себастьян пал на кровать и смежил веки, готовясь умереть от любви.

Не вышло.

Тем же вечером панна Беняконь с дочерью покинули поместье, а княгиня вздохнула и вычеркнула из составленного списка невест имя Малгожаты.

Себастьян же слег. Ему казалось, он умирает от разбитого сердца, осколки которого гремят в груди, но вызванный в спешном порядке Бонифаций Сигизмундович диагностировал банальнейшую простуду, каковую попытался излечить касторовым маслом. Однако же лекарство, привычное, пусть и от души ненавидимое ненаследным князем, не помогло.

– Я умру, – сказал Себастьян, смежив веки. Ему казалось, что именно так и должно быть: смерть от любви в юном возрасте, и романтичная и страшная. И, быть может, жестокосердная Малгожата, образ которой не покидал князя, несмотря на всю его обиду, прозреет. В приступе раскаяния она вернется в поместье и будет громко, безутешно рыдать над гробом, заламывая пухлые руки…

– Непременно умрете, голубчик, – поспешил успокоить пациента Бонифаций Сигизмундович. – Все когда-нибудь да помирают… но не в этот раз. Omnia tempus habent[5].

Себастьян хмурился, поджимал губы и вытягивал руки поверх одеяла, прикидывая, хорошо ли будет смотреться в гробу. Несколько беспокоило то, что горб не позволит ему лежать прямо, а скособоченный покойник – это уже комедия-с.

И Себастьян ерзал.

От ерзания ли, от злости, что даже умереть ему не позволено с должной долей трагизма, лихорадка усугублялась, а треклятый горб невыносимо зудел. Кожа на нем покраснела, сделалась рыхлой, а после и вовсе лопнула, явив миру куцые, влажно поблескивавшие нетопыриные крыла.

– Догогой, – с мягким укором обратилась к несчастному отпрыску княгиня, – девочка погогячилась, а ты слишком остго на все геагигуешь.

В волнении ее картавость стала особенно заметна.

– Я пгекгасно понимаю, что в твоем возгасте склонность к эпатажу вполне естественна. Но согласись, что кгылья – это несколько чегесчуг.

Себастьян отвернулся к стене.

– Не гастгаивайся, догогой. – Ангелина Вевельская осторожно погладила перепонку. На ощупь крылья были плотными, горячими и сухими. Сквозь тонкую кожу виднелись и сосуды, и хрустальные косточки, которые прорывались этакими слюдяными коготками, весьма острыми с виду. – Мы что-нибудь пгидумаем.

Крыло дернулось, едва не оцарапав княгиню, и, убрав руки, она не слишком-то уверенным голосом сказала:

– Быть может, они еще отвалятся?

Робким надеждам ее не суждено было сбыться. Крылья, как и хвост, отваливаться не спешили. Более того, освободившись из кокона, коим и являлся горб – Бонифаций Сигизмундович с преогромным удовольствием описал сей анатомический casus extraordinarius в своем дневнике, – крылья росли. Они вытягивались, обретали плотность, а тело ненаследного князя покрылось четырехгранной чешуей.

– Только гогов не хватает, – со вздохом сказала княгиня и очень осторожно, словно опасаясь наткнуться на упомянутые рога, погладила отпрыска по голове. – С гогами был бы завегшенный обгаз.

И, спеша исполнить пожелание Ангелины, рога появились.

А потом исчезли.

Чешуя же сменила колер и форму, сделавшись плотнее, жестче. Но спустя сутки сгинула и она, явив обыкновенную, разве что по-прежнему смугловатую, цветом в копченую воблу, кожу.

[5] Всему свое время (*лат.*).

Княгиня, приободрившись, ждала продолжения метаморфоз. Мысленно она уже избавила отпрыска от крыльев и хвоста. От последнего – не без труда, поскольку за многие годы Ангелина Вевельская успела свыкнуться с данной особенностью сына.

Хвост остался.

Крылья, впрочем, тоже, разве что вытянулись, загрубели и покрылись короткой шерсткой, каковая на ощупь напоминала бархат.

К радости Себастьяна, пребывавшего в стабильно мрачном настроении, причин для которого, положа руку на сердце, имелось предостаточно, крылья были черны. И очень удобны, когда требовалось скрыться от жестокого мира, в чем ненаследный князь Вевельский испытывал острейшую необходимость. Оттого и заворачивался он в живую ткань собственных крыльев, замирая этаким неподвижным кулем, безмолвным и отрешенным.

Княгиня волновалась.

Бонифаций Сигизмундович перелистывал страницы семейных хроник, пытаясь найти если не объяснение, то хотя бы утешение для великовельможной панны, каковая полюбила вздыхать о тяжелой материнской доле и запивать огорчения рюмочкой вевелевки. Настойка на вишневых косточках, мяте и розмарине, по уверениям местной ворожихи, зело способствовавшая установлению душевного покоя, оказывала на княгиню самое благоприятное воздействие. Ангелина Вевельская ударялась в воспоминания о светлых девичьих годах и надеждах, которым не суждено было сбыться. И воспоминаниями, не имея иного столь же благодарного слушателя, она щедро делилась с Бонифацием Сигизмундовичем. Он же внимал, кивал в нужных местах и глядел с непонятной тоской… а быть может, мерещилось княгине, и дело было вовсе не во взгляде доктора, а в его очочках с затуманенными стеклами.

Или в вевелевке.

Да и мало ли что может примерещиться женщине на четвертом десятке жизни, когда грудь сжимает неясное томление, а у супруга новая пассия, знать о которой, конечно, Ангелине Вевельской не полагается…

Нет, уж лучше о крыльях думать, хвостах и печальных латинских экзерсисах добрейшего доктора, который вдруг тоже полюбил вечерние прогулки, исключительно в силу их полезности для здоровья… он мало говорил и много слушал, очаровательно смущаясь, когда княгиня становилась чересчур уж откровенна. Сам же, когда панна Ангелина замолкала, погружаясь в пучину воспоминаний, он заговаривал о медицине, которой был отдан всецело, о новейших ее достижениях, а также о семейных архивах, скрывавших немало тайн.

И тайны, во многом устаревшие, еще более сближали этих двоих одиноких, в сущности, людей.

– Ах, княгиня, – восклицал Бонифаций Сигизмундович в избытке чувств – он и сам не ожидал от себя подобной пылкости, – прижимая к слезящимся глазам платочек. – Tempora mutantur, et nos mutamur in illis[6]. Но сколь же отрадно встретить женщину столь умную, столь тонко чувствующую…

Княгиня розовела. Трепетали ресницы. Щемило сердце.

И душа рвалась в неизведанные выси. О нет, панна Ангелина вовсе не помышляла о супружеской измене, хотя бы и было сие справедливо, но лишь желала вновь ощутить себя любимой.

Удивительно ли, что при сих обстоятельствах Бонифаций Сигизмундович, да и сама княгиня Вевельская, не торопились покинуть поместье? И здоровье Себастьяна, каковой был, несомненно, более чем здоров – сердечные раны не в счет, – послужило хорошим предлогом для обоих.

Впрочем, к чести добрейшего доктора, он не забывал и о деле.

---

[6] Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (*лат.*).

И однажды усилия его увенчались успехом.

– Панна Ангелина… – Бонифаций Сигизмундович в сей вечер явился ранее обычного, застав княгиню за приготовлениями к вечернему променаду. И перехватив рюмку с вевелевкой – которую добрейший доктор уже успел распробовать и даже счел с медицинской точки зрения безвредной, – опрокинул ее. – Я имею сказать вам поразительную новость!

Он был преисполнен энтузиазма. Избыток его выступал крупной испариной на обрюзгших щеках, переносице и лбу, коий доктор втайне подбривал, поскольку полагал высокий лоб столь же неотъемлемым признаком учености, как и очки.

Княгиня отложила пуховку и бросила взгляд в зеркало, убеждаясь, что выглядит весьма достойно. Ей никто бы не дал ее – страшно подумать! – тридцати шести лет. Двадцать… ну двадцать пять при хорошем освещении… и морщинки в уголках глаз пока еще не столь заметны. И шея нежная, белая, без второго подбородка… и вообще она хороша…

– Идемте, дорогая, идемте. – В волнении Бонифаций Сигизмундович забылся настолько, что взял княгиню за руку. И прикосновение теплой его руки, пальцев тонких, но удивительно сильных, заставило сердце забиться в новом ритме. И Ангелина Вевельская, пожалуй, впервые пожалела о титуле и некотором внушенном наставницами избытке добродетельности.

Она позволила себя увлечь.

– Мы имеем дело с уникальнейшим явлением! – В комнату Себастьяна, где юный ненаследный князь самозабвенно предавался печали, доктор вошел без стука. – Я признаю, что ошибался! Все мы катастрофически ошибались! Ваш сын – редкость!

– Гедкость, – согласилась княгиня, добавив задумчиво: – Еще какая гедкость…

– Подобный случай описан у Вергилия! И Платон упоминает о существах, способных по собственному желанию изменять свой облик!

Себастьян отвернулся к стене.

Он не желал видеть ни матушку, ни доктора, явно неспособных понять всей глубины душевных терзаний… не хватало, чтобы лечить их взялись тем же изрядно опостылевшим касторовым маслом, которое Бонифаций Сигизмундович полагал едва ли не универсальным средством ото всех болезней.

– Но главное: Матеуш Сивельский! О, мне сразу следовало взяться за воспоминания этого чудесного человека!

Доктор потирал руки.

– Он довольно подробно описывает свою встречу с homo sapiens metamorphus, какового ему случилось встретить в Краковеле… – И Бонифаций Сигизмундович вытащил из кармана потрепанную книжицу. – Вот послушайте: «Метаморфичность суть явление, каковое встречается чрезвычайно редко. Я не склонен почитать его, аки иные исследователи, разновидностью оборотничества, поелику метаморф изменяет форму дарованного Вотаном тела, однако не снисходя до всецело животной ипостаси».

Он выдохнул и надушенным платочком смахнул с высокого лба испарину.

– Далее тут медицинские термины, – тихо сказал доктор, словно извиняясь за далекого предка, не сумевшего описать чудесное явление языком простым, понятным для далеких от медицины людей. – Однако же вот… «из беседы мне удалось выяснить, что способность к метаморфозам – явление врожденное. И Вотан же, либо Хельм, как почитают некоторые далекие от науки умы, отмечает сию способность наличием у младенца некоего животного признака»…

…княгиня посмотрела на хвост.

И Себастьян поспешно спрятал его под одеяло.

– «Сия примета верна. Но признак же этот, к примеру, моего собеседника природа одарила рогами…»

Себастьян пощупал макушку, со вздохом признав, что таки рога пробиваются.

– «…никоим образом не вредит. И детство и отрочество метаморфов протекают спокойно, что вновь же отличает их от истинных оборотней, и в колыбели подверженных зову луны».

Доктор шумно выдохнул и, перевернув страницу, продолжил:

– «Переход же в возраст юношеский сопровождается сильными душевными переживаниями, на которые плоть отзывается переменами».

Себастьян был вынужден согласиться, что переживания в наличии имеются, перемены плоти – также.

– «Мой собеседник с немалым стеснением признался, что в минуты сильнейших волнений он отращивал хвост наподобие коровьего, а также жабры и чешую. В дальнейшем, естественно, он научился управлять этой своей способностью. И на глазах моих продемонстрировал невероятную гибкость тела, отрастив перепонки меж пальцами…»

– Значит, – тоненьким голоском поинтересовалась княгиня, ущипнув отпрыска за крыло, – от этого можно избавиться?

– Вероятнее всего, драгоценная моя… вероятнее всего…

Доктор помусолил страницы.

– Nota bene! Сам Матеуш не единожды подчеркивает, что у метаморфических сущностей физическое их обличье всецело зависит от psyho… душевного состояния, – пояснил он княгине, которая пребывала в величайшей задумчивости.

– И что нам сделать? – деловито поинтересовалась панна Ангелина, погладив отпрыска по бархатному крылу.

– Нам – ничего. – Доктор упрятал книжицу во внутренний карман пиджака. – Видите ли, все сводится к классическому… nosce te ipsum[7].

Познавать себя Себастьян отправился на крышу. Первым делом он попытался пробудить в своей душе жажду полета, ибо луна была полной, круглой, что наливное яблочко, а размах крыльев – приличным. Во всяком случае, с виду. Но после нескольких неудачных попыток, последняя из которых закончилась двойным переломом руки, стремление добраться до луны или хотя бы до фигурного флюгерка на старой башне сошло на нет. Перелом сросся быстро, а привычка ночевать на крыше осталась. Да и то сказать, вне дома, в тишине – комарье не способно оказалось пробить плотную чешуйчатую шкуру Себастьяна – ему думалось на редкость ясно.

Большей частью о судьбе мира.

И собственной.

Он, обожженный пламенем первой неудачной любви, ныне мыслил жизнь оконченной. Незаметно, ближе к осени, должно быть вследствие Красной луны, каковая, если верить истинным оборотням, случалась раз в сто лет, вернулась страсть к стихосложению. И Себастьян, представляясь себе же фигурой трагичной, заворачивался в крылья, словно в плащ, обнимал хвост и срывающимся голосом читал в ночь свежесочиненное:

Слеза застыла на щеке…

На старом пруду соловьями заливались жабы. Чешуя зудела, то появляясь, то исчезая.

А вдохновение рвалось из груди. Или, если верить любимой нянечке, перо свербело в жопе… но вариант с вдохновением нравился Себастьяну больше.

И сердце замерло в руке.
Зачем, зачем я плачу вновь?

[7] познай себя (*лат.*).

В душе моей струится кровь!

Жабы рокотали, оставаясь равнодушны к высокому штилю, и лишь нетопыри откликались на душевные метания князя тонкими зябкими голосами. Нетопыри в принципе полюбили его, видимо принимая это престранное существо с крыльями за дальнего родича. Они подлетали, садились, цепляясь колючими коготками за кости, повисали этакими черными тряпицами и посвистывали этак, с одобрением. И, вдохновленный вниманием, Себастьян декламировал:

Холодный нож скользит по венам.
И думаю, что, может, зря,
Ведь зарастают в сердце раны.
И, может, кто поймет меня…

Нетопыри пищали, норовя забиться в складки крыльев, там им было теплее. Себастьян не возражал. Собственный образ виделся ему исполненным одновременно и трагизма и романтики. Однако на том процесс самопознания застопорился. И если с чешуей Себастьян кое-как научился управляться, то с крыльями дело обстояло сложнее.

С каждым днем прогулки по крыше становились дольше, а стихи – трагичней.

– Надеюсь, это со вгеменем пгойдет, – уверяла княгиня прибывшего с визитом вежливости супруга. Тадеуша Вевельского подобные привычки сына вовсе не обрадовали, равно как и внезапная страсть отпрыска к черной одежде и бутоньеркам с розанами. – Мальчик повзгослеет. Остепенится… ему пгосто нечем здесь заняться.

Но о том, чтобы вывезти сына в столицу, она не заговаривала, прекрасно осознавая, какой разразится скандал. Вот если бы Себастьяну все-таки удалось с крыльями поладить…

Подумав, Тадеуш согласился, что новоявленная хандра вовсе не есть следствие приворотного зелья, использованного, к слову, с молчаливого согласия Ангелины Вевельской, или свойство душевной конституции метаморфа, но естественный результат безделья. Сына срочно требовалось если не занять, то хотя бы отвлечь от пустых, с точки зрения князя, переживаний. Вызванный пред отцовские ясные очи, Себастьян расправил крылья, почесал перламутровым когтем шею и низким, рокочущим басом произнес:

К губам ее ни разу не припав
И сердца не прижав к груди…

Он смотрел прямо в глаза князю, и черные ресницы по-девичьи трепетали, а в уголках глаз застыли слезы.

Я образ ейный люто гнал…

Себастьян запнулся, потому как муза, не оценив экспромта, вновь ретировалась, оставив ненаследного князя наедине с Тадеушем Вевельским, а тот был поэзии чужд.

– Дорогой сын, – сказал он, окидывая первенца придирчивым взором. От него не укрылись и некоторая бледность явно искусственного происхождения, и томная мушка над губой, из-под которой выглядывали острые клычки. Верно, из-за них Себастьян слегка шепелявил, отчего волновался, и в волнении крылья подрагивали, а хвост премерзко щелкал о столешницу.

– Дорогой… – севшим голосом повторил батюшка, – сын… мне кажется, что ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать…

Себастьян смотрел сквозь тень ресниц внимательно, можно сказать, душевно. И под этим взглядом князю Вевельскому было крайне неуютно.

– Иногда жизнь…

…Черная атласная рубаха просто неприлично обтягивала широченные плечи Себастьяна. Веером расходился кружевной, накрахмаленный любимой нянюшкой воротник. Алел на груди очередной розанчик. И крылья обвисли, выдавая глубоко меланхолический настрой юного князя.

– …преподносит нам испытания…

Тадеуш все же сбился с речи и, махнув рукой на нее, заготовленную по настоянию княгини, которую весьма беспокоили затянувшиеся переживания отпрыска, сказал:

– Завтра отправишься в Краковель.

…Конечно, не столица, но город большой, шумный, а главное, славный не только козьими сырами. Князь весьма рассчитывал на некую улицу, поименованную на хранцузский манер Руж-ове, а в народе называемую Ружовой, каковая была известна далеко за пределами Краковеля. В спутники сыну он определил собственного ординарца, человека надежного, пусть и несколько туповатого.

Присмотрит.

А в веселом доме, глядишь, и выветрятся из княжьей головушки хандра со сплином.

…и крылья заодно отвалятся.

На том Тадеуш Вевельский отцовский свой долг счел исполненным и отбыл на воды, где его уже ожидала некая юная, но, вне всяких сомнений, достойная особа, на благосклонность которой князь весьма рассчитывал, благо остатков приданого Ангелины еще хватало на милые сердцу развлечения…

Что до старшего сына, то прописанный в качестве лекарства вояж и вправду круто переменил его жизнь; однако виной тому стали не легкомысленные девицы из Ружового дома, весьма, к слову, приличного и оттого лояльного к маленьким странностям клиентов, но яркие, полные жизни рассказы ординарца, чей брат служил в полиции…

Себастьян, сперва чуравшийся дамского общества, но вскоре нашедший его хоть и приятным, но несколько однообразным, к этим историям прикипел душой. И даже понимание, что сами они суть вольный пересказ полицейских романов, продававшихся по два медня за книжицу, нисколько не разочаровало его. Ординарец лгал с душой, и эта душа делала его ложь живой, ароматной.

…Спустя две недели, когда розово-кружевные интерьеры дома набили у юного князя оскомину, оставив, однако, нетронутыми воспоминания о прекрасной, но коварной Малгожате, Себастьян принял первое в своей жизни важное решение.

Разочарованный в любви, он желает служить родине.

И пусть по военной стезе путь для него закрыт, поелику семейную традицию продолжат братья, уже приписанные к более-менее приличным полкам, но ведь есть же непроторенная князьями Вевельскими полицейская тропа.

К несчастью для отца и своего будущего начальства, идею Себастьян воплотил в жизнь немедля и с немалым рвением. Ускользнув от ординарца, обманутого кажущимся спокойствием подопечного и внезапным исчезновением крыльев у оного – событие, о котором ординарец с радостью отписал князю, – Себастьян отыскал ближайшего вербовщика и, представившись по матушке Себастьяном Грэй, аглицким эмигрантом во втором поколении, заключил договор. И ладно бы обыкновенный, заверенный магистратом, каковой можно было бы расторгнуть без особого труда. Нет, смутно подозревая, что родители скептически отнесутся к новому увлечению дитяти, и желая во что бы то ни стало доказать собственную пригодность как к службе, так и к самостоятельной жизни, ненаследный князь Вевельский потребовал договор-на-крови.

Семилетний.

Вербовщик, несколько пораженный подобным рвением, осторожно уточнил, знает ли пан Грэй, что договоры подобного рода являются нерасторжимыми? А получив ответ утвердительный, пожал плечами – мало ли у кого какая блажь случается? Благо за нонешнюю вербовщику полагалась премия, отчего к престранному юноше с взором горящим он проникся вполне искренней симпатией.

Хочется служить отечеству?

Пускай себе.

Главное, чтоб годным признали.

Как ни странно, эта же мысль беспокоила и Себастьяна. Впрочем, к когтям, равно как и хвосту, убрать который у Себастьяна не получалось при всем старании, полковой доктор отнесся с поразительным равнодушием.

– Годен, – буркнул он. И, дыхнув на печать ядреным сивушным перегаром, шлепнул на серый лист.

Полковой ведьмак, глянувший на хвост искоса, лишь поинтересовался:

– Оборотень?

– Метаморф.

– В казармах на луну не выть, в казенной одежде не обращаться. – Ведьмак извлек из-под полы серебряное перо. – Попортишь – из жалованья вычтут…

За сим освидетельствование, бывшее скорее ритуалом, нежели вящей необходимостью, было завершено. И Себастьяну на побуревшем латунном блюде подали договор и булавку, которую вербовщик протер почти чистым носовым платком. Им же отмахнулся от крупной осы, что кружилась над лысиной.

– Ну… это, с Вотаном, паря… – Вербовщик скосил глаза на портрет государя, несколько засиженный мухами. Очи его величества гневно сверкнули, и вербовщик, кое-как втянув живот, рявкнул: – И во благо Отечества!

– Во благо, – эхом отозвался доктор, поднимая мутную склянку.

И с преогромным наслаждением, даже не поморщившись, Себастьян воткнул в мизинец булавку. Капля крови скатилась на темный пергамент, впиталась в узор, активируя заклятие.

– Поздравляю, – сказал вербовщик, не без труда подавив зевоту, – вы зачислены в рекруты…

…Он говорил еще что-то, нудно втолковывая о правах и обязанностях, Себастьян же сунул палец в рот – мизинец, не осознавая торжественности момента, ныл и отращивал коготь, демонстрировать который было как-то неудобно…

С этого и началась новая жизнь ненаследного князя Вевельского…

Глава 2,
где речь идет о женской злопамятности, девичьих мечтах и унитазах

В жизненных реалиях Иваны-дураки встречаются куда чаще, нежели Василисы Премудрые.
Вывод, сделанный Евдокией Яснооокой, девицей купеческого сословия, на основании собственных наблюдений

Шестнадцать лет спустя

– Дуська! У него новая любовница! – Вопль единоутробной сестрицы выдернул Евдокию из сна, в котором она, Евдокия Парфеновна Яснооокая, девица двадцати семи с половиною лет, едва не вышла замуж.

Открыв глаза и увидев знакомый потолок с трещиною, которую заделывали каждый год, а она все одно выползала, Евдокия выдохнула с немалым облегчением.

Приснится же такое! Замуж ей не хотелось. Вот совершенно никак не хотелось.

А спать – так напротив.

– Дуська, ну сколько можно дрыхнуть! – Алантриэль упала на перину. – Подвинься.

– Чего опять?

Евдокия с трудом подавила зевок.

…И в кого она пошла такая, совиною натурой? Известно в кого, в батюшку покойного, которого она помнить не помнила, но знала благодаря тому, что сохранилась свадебная дагерротипическая карточка, еще черно-белая, но весьма выразительная. И глядя на нее, Евдокия со вздохом обнаруживала в себе именно батюшкины черты. Парфен Бенедиктович, купец первой гильдии, был носат, невысок и обилен телом. Рядом с ним даже матушка, уж на что внушительной уродилась, выглядела тонкой, изящной. И свадебное платье из белой грани[8], купленной по сорок сребней за аршин – немыслимые траты, каковых любезная Модеста боле себе не позволяла, – придавало ее обличью неизъяснимую хрупкость.

Хрупкость эта, пусть существовавшая исключительно на снимке, всецело отошла Аленке, на долю же Евдокии достались матушкина выносливость, упрямство и не по-женски цепкий ум.

Вот и куда ей замуж?

Спаси и сохрани, Иржена-заступница.

– Чего опять? – Евдокия все ж таки зевнула.

Рань ранняя… небось только кухарка и встала. И Аленка с ее влюбленностью, чтоб ей к Хельму провалиться, не Аленке, конечно, все ж таки сестра, хотя порой злости на нее не хватает, а влюбленности. Правда, другое дело, что Хельму хвостатому оная влюбленность вовсе ни к чему, но…

Поутру мысли были путаными, что собственная коса.

– У него новая любовница! А вдруг он на ней женится! – с надрывом произнесла Аленка.

– Кто и на ком?

Евдокия почесалась.

Спина зудела.

[8] **Грань** – разновидность парчи.

И бок… и неужели в перине клопы завелись? Вроде ж проветривали – Модеста Архиповна не терпела в доме беспорядку – и регулярно в чистку отправляли… а оно чешется… или не на клопов, а на Аленкину любовь реакция?

– Он! – Аленка воздела очи к потолку.

Понятно.

Он, который тот самый, чье имя Аленка стеснялась произносить вслух, существовал в единственном и неповторимом экземпляре.

– Не женится, – уверенно сказала Евдокия, давясь очередным зевком.

– Думаешь?

– Знаю.

– Откуда? – Аленка и в простой батистовой рубашке умудрялась выглядеть прелестно. Рядом с сестрицей Евдокия казалась себе еще более неуклюжей, тяжеловесной, нежели обычно. Хотя и не злилась на Аленку; она ж не виновата, что красавицей уродилась…

– Оттуда. Если на предыдущих не женился, то и на новой тоже… и вообще, выкинула бы ты из головы эту дурь.

Бесполезно просить.

Любовь – это не дурь, это очень даже серьезно в неполные семнадцать лет, а если Евдокия не знает, то это от врожденной черствости…

…в том-то и дело, что знает: и про семнадцать лет, и про любовь, которая непременно одна и на всю жизнь, и про то, что случается, если этой самой любви поддаться.

Евдокия вздохнула и глаза закрыла.

Не уйдет же.

Сестрица, как и все жаворонки, пребывала в том счастливом заблуждении, что и прочие люди, вне зависимости от того, сколь поздно они ко сну отошли, обязаны вставать вместе с солнцем и в настроении чудеснейшем… а если у них не получается раннему подъему радоваться, то исключительно от недостатка старания.

– У него каждую неделю новая любовница. И нынешняя ничем от прошлых не отличается, – пробурчала Евдокия.

Аленка же, обдумав новость с этой точки зрения, сказала:

– Да… пожалуй что… но тут пишут… вот…

И статейку под нос сунула. Газетенка вчерашняя, из тех, которые маменька точно не одобрит, но Аленка маменькиного гнева не боится. Как же, только «Охальник» о ее великой любви и пишет… тьфу.

– Попишут и перестанут.

Аленка тряхнула светлой гривой и неохотно признала:

– Ты права…

Конечно, права… Евдокия всегда права… особенно в шестом часу утра, когда глаза слипаются. Аленка же, утешившись, уходить не спешила. В пустом сонном доме ей было скучно.

– И разве он не прелесть? Скажи, Дуся?

Она прижала скомканный, небось и зацелованный до дыр лист к груди.

– Это судьба, Дуся… это судьба…

– Угу. – Евдокия, которая терпеть не могла, когда ее называли Дусей, поскребла босую ступню, раздумывая, чем заняться.

Вставать не хотелось.

Холодно. Вот же ж, топят по-новому, паром, а все одно холодно. И тоскливо, пусть бы и весна в самом разгаре… маменька, та уверяет, что будто бы Дусина тоска мужиком лечится, и все перебирает возможных женихов, и каждый перебор скандалом заканчивается.

И ведь не объяснишь же, что Евдокии просто-напросто замуж неохота.

Эх, еще немного, и начнет она Аленке с ее влюбленностью завидовать… хотя нет, Евдокия глянула на одухотворенное личико сестрицы, мыслями уже пребывавшей в храме Иржены-заступницы, и перекрестилась. Чур ее!

Хватит, налюбилась уже…

…лучше о пане Острожском подумать с его пропозициями, бумагами, над которыми Евдокия и засиделась допоздна…

…шахты медные…

…приграничье… Бурятовка… там и вправду добывали некогда медную руду, но еще до Первой войны забросили… ныне же выходило, что если паровые махины поставить, вглубь за жилою уйти, то можно добычу возобновить… и красивый прожект получался, проработанный, да только…

…Серые земли рядом…

– Ничего-то ты не понимаешь, – вздохнула Аленка, сбив с мысли. Она потянулась и слезла с кровати, но газетку оставила.

Авось прочтет сестрица старшая и проникнется…

Уже прониклась.

По самую макушку.

Евдокия фыркнула и закрыла глаза. Сон не возвращался. С полчаса она упрямо лежала, ворочаясь с боку на бок, а потом сдалась-таки и выбралась из-под пухового одеяла. Потянулась до хруста в косточках. Подняла руки над головой и качнулась, сначала влево, потом вправо. И к ногам, к пальцам, что выглядывали из-под полы сатиновой рубашки.

Присела пяток раз, широко руки разводя.

Раньше Евдокия еще и прыгала, потому как Аленкина наставница аглицких кровей уверяла, что будто бы прыжки на месте немало способствуют ускорению тока крови, а желчь и вовсе на раз выводят. Она и сама скакала, смешно вытягивая шею, пытаясь даже в прыжке спину держать… ну да в наставнице той пуда три веса всего… а в Евдокии всяк поболе будет, оттого маменька слезно просила не блажить.

Люстра в гостиной от прыжков качается.

А она дорогая, богемского хрусталя, в том годе только куплена…

– Вы же, пан Себастьян, надо полагать о подобных мелочах вовсе не задумываетесь, – обратилась Евдокия к снимку, который получился на редкость удачным. Узкое лицо с чертами изящными, пусть и несколько резковатыми, с широким подбородком и на редкость аккуратным носом… именно таким, каковой должен быть у шляхтича голубых кровей.

Евдокия потрогала собственный, курносый и с конопушками…

…и скулы-то у пана Себастьяна высокие, и лоб тоже высокий, образцово-показательный, и брови вразлет, и очи черные, и взгляд с прищуром, будто бы известно ему нечто про Евдокию, чего, быть может, сама она о себе не знает. И вообще ненаследный князь Вевельский весь из себя, от макушки до пяток – княжьи пятки, конечно, Евдокии видеть не доводилось, но фантазией она обладала развитой, а потому живо представляла их: белые, аккуратные, самых аристократических очертаний, – великолепен.

Тьфу.

Надо полагать, часу не пройдет, как статейка отправится в Аленкину тайную шкатулку к иным снимкам. Еще там имелась веточка сухой лаванды и синяя атласная лента. Какое отношение вышеупомянутые предметы имели к Себастьяну Вевельскому, Евдокия не знала и, признаться, знать не хотела.

Она вздохнула и перевернула страницу, желая скрыться от этого лукавого и такого выразительного, прямо-таки издевательского взгляда…

Нет, Евдокия была девицей в целом справедливой, но вот к ненаследному князю Вевельскому она испытывала крепкую неприязнь. И дело было отнюдь не в нем самом. Евдокия подо-

зревала, что о существовании ее пан Себастьян не помнит, а о чувствах к нему и всему роду князей Вевельских и вовсе не догадывается…

…начать следовало издалека, пожалуй, еще со счастливых времен матушкиного девичества, кое проходило в местечке со звучным названием Чернодрынье. Спокойное, славилось оно на все королевство горячими серными источниками, на которые съезжались по лету заможные панны и панночки крепить слабое женское здоровье, а заодно приглядываться к кавалерам. Здесь в моде были легкие скоротечные романы, фирменные паровые котлеты из куриных грудок и соломенные шляпки, магазин которых и держал купец второй гильдии Архип Полуэктович. Был он дельцом не сказать, чтобы успешным, но кое-как умудрялся свести концы с концами, всерьез подумывая о том, чтобы расширить ассортимент лавки за счет атласных лент и гребней, которые вырезали в местной мастерской. Однако планы и оставались планами, поелику денег на расширение у Архипа Полуэктовича не имелось: все уходили на содержание супруги и четверых дочек. Модеста была старшей, она и запомнила тот ужасный день, когда в лавку заглянула высокородная гостья.

Кто не слышал о Катарине Вевельской, каковая предпочла Чернодрынье заморским Бирюзовым водам? Княгиня поселилась в лучшем отеле «Чернодрынская корона», заняв сразу весь этаж. За три дня она успела посетить купальни, минеральную лечебницу, где приняла стакан серной воды, и все более-менее приличные ресторации, из которых предпочтения отдала той же «Короне», громогласно заявив, что местный повар знатно готовит фуа-гра под семивойским соусом, что вызвало небывалый ажиотаж и позволило поднять цены втрое…

И вот теперь она заглянула в лавку купца Архипа Полуэктовича.

Модеста запомнила и сухое широкоскулое лицо княгини, и перчаточки ее невообразимой белизны, и моднейшее платье в морскую полоску. И конечно же взгляд, каковой после, пересказывая события того трагического дня, называла равнодушным.

Княгиня соизволили перчаточку снять, передав сопровождающему ее мэру, который пыхтел, потел и держал под мышкой лысую собачонку гостьи. Мэр передал перчатку помощнику, а тот – личной горничной княгини…

Катарина Вевельская сняла шляпку с деревянной головы – и выбрала дорогую, из выписанных Архипом Полуэктовичем на пробу, – примерила, кинула взгляд в зеркало и скривилась.

– Боги милосердные… какое невыразимое убожество! – сказала она. И все, кто вошел в лавку, закивали, соглашаясь. Тем же вечером «Вестник» разразился обличительной статьей о том, как некие недобросовестные торговцы подсовывают отдыхающим негодный товар…

Статью Модеста Архиповна сохранила, как и истовую неприязнь не столько к самой княгине Вевельской, ставшей невольной причиной отцовского разорения, сколько ко всем вельможным господам. В тот же год, стараясь хоть как-то помочь семье, над которой нависла угроза потерять не только лавку, но и дом, шестнадцатилетняя Модеста приняла предложение Парфена Бенедиктовича, купца первой гильдии, разменявшего шестой десяток, но вдового, бездетного и весьма состоятельного. Свадьба состоялась уже в Краковеле. После венчания счастливый новобрачный, выслушав неискренние поздравления от не очень счастливых родичей, весьма болезненно воспринявших сию новость, увез супругу в свадебный вояж.

Нельзя сказать, чтобы Модеста Архиповна тяготилась замужеством. Супруга она уважала безмерно за спокойный нрав, рассудительность и деловую хватку, которой собственному ее отцу не хватало. И когда Парфен Бенедиктович скончался в возрасте шестидесяти трех лет, горевала вполне искренне. Впрочем, скорби она предавалась недолго: ровно до того дня, когда обиженная завещанием Парфена Бенедиктовича родня выступила единым фронтом, подав на скорбящую вдову в суд. Он затянулся на год. Об этом времени Модеста вспоминать не любила, разом мрачнея. Она чувствовала за собой правоту, но высший суд, председательствовал в котором не кто иной, как Тадеуш Вевельский, решил иначе. Признав вескими доводы, что слабой женщине самой не управиться с хозяйством, князь постановил: отдать племянникам покой-

ного смолокурни, солеварню, приносившую княжеству немалый доход, и долю в верфях. За Модестой же остались городской дом, поместье с дюжиной деревенек, приносивших стабильную, хотя и невеликую ренту, и маленький фаянсовый заводик.

– Женщине хватит, – громко заявил князь, отмахиваясь от ходатайства.

И эти слова ранили нежную душу Модесты.

Следующие десять лет Модеста – каковую все чаще именовали Модестой Архиповной с должным почтением и придыханием – доказывала князю, сколь неправ он был. Хиреющий заводик – фаянсовая посуда давным-давно перестала пользоваться должным спросом – она переоборудовала, хотя и пришлось для этого продать и особняк, и личные, Парфеном Бенедиктовичем даренные, драгоценности.

Родня покойного, затаив дыхание, наблюдала. Уверенные в том, что затея упрямой вдовицы обречена на провал, они даже перестали злословить. И сами не замечали, как настороженное внимание подстегивало Модесту.

Фаянсовая посуда? О нет, Модеста точно знала, что именно будет производить. Диковину, виденную в Аглиции и произведшую на юную купчиху куда большее впечатление, нежели всем известная башня с часами. Да и то: что она, дома башен не видала? Вот унитаз – дело иное… за унитазом будущее. Светлое. Фаянсовое.

Видимо, упорство вдовы пришлось по душе Вотану-дарителю, а может, Иржена-заступница, оскорбленная княжьим выпадом – все ж таки хоть богиня, а тоже женщина, – одарила милостью, но дело пошло. Модеста изловчилась и открыла на Королевской улице лавку, гордо поименованную «Фаянсовый друг», у входа в которую поставила два унитаза; правда, дабы окрестный люд, лишенный всяческого понимания и чувства прекрасного, не пользовал упомянутых друзей по прямому их назначению, посадила в унитазы эльфийские шпиры. И колючие бледно-золотистые елочки, славящиеся капризным норовом, принялись.

…не прошло и двух лет, как Модеста расширилась. Помимо унитазов, каковые выпускали аж в четырех вариациях – для прислуги, для гостевых комнат, для мужских и дамских нужд, последние украшались птичками и розанами, – ее заводик освоил и горшки для шпиров, и фаянсовые расписные рукомойники, мыльницы, и массивные емкости для шампуней… Модеста прикупила фабрику, что выпускала глазурованную плитку…

…а заодно и почти разорившуюся солеварню. Последнюю – исключительно из упрямства.

Она полюбила бархаты и меха, каковые носила даже летом, пусть бы и полагали сие дурновкусием; но Модеста пребывала в счастливой уверенности, что богатство свое надо демонстрировать, иначе откуда люди узнают, что к ней, многоуважаемой Модесте Архиповне, надлежит относиться с почтением?

К двадцати семи годам она вернула себе все имущество покойного супруга, каковое почитала своим, завела лысую собачку, точь-в-точь как у княгини, и мужа-эльфа. Последним Модеста Архиповна особенно гордилась и, надо сказать, Лютиниэля-эль-Акхари, которого именовала ласково – Лютиком, любила вполне искренне. Он же, так и не освоившийся в чужой стране, к супруге относился с трепетной нежностью.

Впрочем, любовь ее никоим образом не повлияла на деловую хватку, и до последних дней беременности, которая в отличие от первой протекала легко, не изматывая женщину дурнотой и слабостью, Модеста занималась делами.

…имущества прибывало. То конопляный заводик подвернется, то мануфактурка какая захиревшая, то вовсе угольная шахта… одно к одному, к тридцати Модеста Архиповна первый миллион заработала, но не сказать, чтобы сильно тому радовалась. Хозяйство-то большое, и за всем глаз и глаз нужен.

Управляющие, конечно, были, но надолго они при купчихе не задерживались, отчего-то наивно полагая, будто бы бабский разум не в состоянии проникнуть в хитросплетения бухгалтерского учета.

– Воруют, – сокрушалась Модеста, вышвыривая за дверь очередного управляющего, который слезно клялся, что непременно исправится и наворованное вернет.

Модеста не верила.

И отвешивала оплеуху, а если совсем уж не в настроении была, то и пинка. Телом она была крепка, богата, оттого оплеухи выходили доходчивыми.

Так и жили.

С самого раннего детства Евдокия привыкла к тому, что маменька ее, пусть строгая, но без памяти дочь любящая, все время при деле находится. И отвлекать ее не след. Евдокия росла среди бумаг, бухгалтерских книг и счетов. Она рано освоила язык цифр, научилась отличать фарфор от фаянса, а фаянс от майолики и разбираться в тонкостях подглазурной росписи.

Семейное дело было куда интересней кукол и подружек, тем паче с последними у Евдокии не ладилось. Скучно ей было что с детьми, что с нянькой, пусть бы она знала все девять легенд о Вевельском цмоке, а сказок с присказками и вовсе бессчетно. Но от няньки Евдокия сбегала, пробираясь в маменькин кабинет. Она пряталась под столом и сидела тихо-тихо, перебирая гранатовые косточки абака.

– Запомни, Дуся, – в короткие минуты отдыха Модеста Архиповна брала ребенка на колени, от матушки пахло хорошо: книжной пылью, чернилами и тяжелыми цветочными духами, – истинная свобода женщины вот она…

И Модеста Архиповна выкладывала башенки из монет.

– Будут у тебя деньги – будешь сама себе хозяйка, и никто-то тебе словечка не скажет. Вот медь, за нее можно купить конфету. Или две… но петушка ты съешь и забудешь, и монеты уже не останется. – Медные башенки были самыми высокими. И Евдокия с преогромным удовольствием рушила их. Тяжелые монеты катились, и маменька хмурилась: не след так с деньгами обращаться. Она заставляла Евдокию собирать все деньги, до последнего медня.

Деньги Евдокии нравились.

Медни были разными. Одни новенькие, блестящие, с чеканным королевским профилем на аверсе и двуглавым орлом на реверсе. Другие – уже пожившие, потерявшие блеск. И король на них смотрел будто бы с прищуром, хитро, аккурат, как мясник, которого маменька в глаза называла жуликом. А кто, как не жулик, если за корейку просит аж полтора сребня? Где это виданы такие цены? Чем старше становились монеты, тем сильнее менялся король. На совсем уж древних, затертых, королевский лик был неразличим, а орлы и вовсе покрывались характерной прозеленью.

– Вот серебро, – учила маменька, позволяя взять увесистую монету. – В одной серебрушке десять медней. Но десять медней ты вряд ли выменяешь на одну серебрушку…

Золото было тяжелым, нарядным. Его Евдокии разрешали держать, и она, пробуя монету на зуб, выстраивала башни… один злотень – десять сребней. А если в меди, то и вовсе много получается.

Маменька, видя этакую старательность, умилялась.

Разумницей растет.

Вся в родителей.

Наставники, нанятые Модестой Архиповной, пусть и дивились этакой блажи – где это видано, чтоб девицу обучали не шитью, но математике с астрономией? – к делу подошли серьезно. Да и Евдокия оказалась благодарной ученицей, жадной до нового.

Вот только упертой, что твоя коза…

Это маменька поняла, когда вздумала доченьку любимую, восемнадцатый год разменявшую, замуж выдать. И ведь супруга подыскала хорошего, разумного, сильного, а что слегка

рябенького, оспою побитого, так с лица ж воду не пить! Зато хоть и хваткий, но тихий, небуянистый.

Ко всему – из шляхты.

Очень уж Модесте Архиповне хотелось со шляхтой породниться…

– Не пойду, – сказала Евдокия, поджав губы. – Он мне не нравится. И вообще, я замуж не хочу.

Маменька попробовала было призвать дочь к послушанию, но выяснилось, что упрямством Евдокия пошла не иначе как в маменьку.

Скандалили месяц.

Не разговаривали еще два. И Лютик, который ссорами тяготился, тщетно взывал к разуму, что супруги, что падчерицы. Закончилось все проводами очередного управляющего, а ведь показался-то разумным человеком, и несказанной обидой, коию вновь нанес Модесте Архиповне князь Вевельский.

Это ж надо было: взять и не пригласить достопочтенную купчиху на купеческое собрание!

Чем она иных хуже?

А еще нашлись доброхоты, донесшие небрежное, князем брошенное:

– Бабе – бабье…

Вот так, значит… бабе – бабье… небось налоги-то взыскивает наравне с иными мужиками, а в собрание, значится, лезть не моги? И обида теснила грудь Модесты Архиповны…

– Маменька, плюньте на этого женоненавистника, – сказала Евдокия, отчасти покривив душой. Женщин пан Тадеуш любил; и об этой его любви, которая приключалась в основном к весне ближе, «Охальник» писал весьма подробно, неискренне сетуя на падение нравов.

Может, нравы и падали, но тиражи росли.

– Плюньте и забудьте. – Евдокия дернула себя за косу. Пожалуй, из всей маменькиной красоты достались ей лишь волосы: длинные, тяжелые, яркого соломенного колеру. – Ваши унитазы во всем Краковеле знают.

Это было слабым утешением.

Конкурентов в последнее время объявилось, да продукция их была не в пример хуже, но и дешевле. Оттого и спрос имелся.

…поговаривали, будто бы сам князь Вевельский фаянсовый заводик прикупил, через третьи руки, конечно, потому как не по чину князю с унитазами возиться…

– Надо делать эксклюзив, – сказала Евдокия и протянула тетрадочку. – Погляньте, маменька, я все тут расписала как есть…

…и тогда-то Модеста Архиповна поняла, что замуж дочь выдать не получится. Кто ж возьмет ее, такую не в меру разумную? А с другой стороны, может, оно и к лучшему.

– Вы местечково мыслите, маменька. – Евдокия, поняв, что бита не будет, осмелела. Она села, расправив подол мышастого саржевого платья, и сгребла горсть каленых орешков, до которых была большой охотницей. – Надобно же в разрезе эуропейских тенденций.

– А розгами? – поинтересовалась Модеста Архиповна, но не зло, так, для порядку. И то сказать, дочерей своих она отродясь не порола, даже когда Аленка изрезала пять аршинов дорогущего бархату… бабочки, видишь ли, ей понравились.

– По первости необходимо зарегистрировать торговую марку, такую, чтоб все узнавали. Затем проплатить рекламу… и не только в «Ведомостях». У «Охальника» тиражи выше… и еще, чтобы какой-нибудь профессор, лучше, если не наш, напишет, что будто бы наш фаянс особый, от него здоровья прибавляется…

– Через задницу? – Модеста Архиповна присела.

– А хоть бы и через задницу. Многие только ею и живут, сами ведь говорили.

– Дуся!

– Что, маменька?

– Ничего, детонька… – Модеста Архиповна от орешков мужественно отказалась. В последние годы, когда в постоянных разъездах отпала нужда, а стол стараниями дорогого супруга стал разнообразен, фигура ее претерпела некоторые изменения. И пусть бы тонкостью стана Модеста не отличалась и во времена далекого девичества, но и расплываться ей не хотелось. – Наш профессор дешевле обойдется.

– Зато иноземцу больше верят.

И то верно…

…главное, что не прошло и недели, как в Торговой палате было зарегистрировано новое товарное клеймо «Модестъ». Чуть позже в «Охальнике» увидела свет статья о благотворном влиянии фаянса на внутреннюю энергию организма. Естественно, фаянса не всякого, а исключительно того, который сделан из каолина, добытого на Эльфийском взморье, пропитанного волшебством Пресветлого леса и кристаллами соли… Проплаченный профессор – обошелся в двести злотней – разливался соловьем. Модеста Архиповна только хмыкала, читая.

– Вотан милосердный, – сказала она, отложив газетенку, – это ж вранье!

– Не вранье, – возразила Евдокия, – а реклама…

…вскоре нашлись чудом исцелившиеся, о которых «Охальник» писал с неизменным восторгом, открыв специальную рубрику «Народное здоровье». А о солдатской жене, пять лет лечившейся от бесплодия, но зачавшей исключительно после того, как начала пользоваться унитазом торговой марки «Модестъ», и вовсе сделал отдельный выпуск.

«Вестник» вел себя скромнее, в основном подчеркивая высочайшее качество, доступность цен и эксклюзивную линию с уникальной эльфийскою скульптурой. В последнем, к слову, не врал. Лютику новое занятие весьма себе полюбилось…

Дело ладилось.

Особый успех возымел выпуск унитазов марки «Вершина»: массивных, снабженных широкими подлокотниками, с обитым лисьей шкурой сиденьем и бачком в форме высокой спинки с вензелями. Злословили, что сии агрегаты весьма напоминают трон, но… разве, Вотан милосердный, такое возможно?

Конечно нет.

Как бы там ни было, но вскорости Модеста Архиповна, не кривя душой, могла считать себя королевой фаянса… вот только на позапрошлогодней выставке товаров народного потребления, куда ее скрепя сердце пригласили, грамоту за продукцию высшего качества князь Вевельский вручил не ей.

– Бросьте, маменька, – сказала тогда Евдокия, косу на руку накручивая, – очевидно же, что налицо предвзятое отношение. Князь давно и прочно ангажирован.

Это Модеста Архиповна понимала, но обида-то осталась.

– Ничего, – она поправила соболиную шубу, подол которой тянулся за купчихою меховым шлейфом, – будет и на нашей улице праздник.

И к выставке новой готовилась со всем тщанием, справедливо рассчитывая, что усилия ее оценят по достоинству. Евдокия с тоской вспомнила, кому и сколько пришлось заплатить за обещание, что на сей-то раз… и ведь не вернули деньги, мол, по обстоятельствам независящим… в общем, нехорошо все вышло.

Князь с супругой, бледной дамой в изысканном туалете, объявился на третий день. И прошествовал мимо, не удостоив Модесту Архиповну взглядом. Та же, с некоторым злорадным удовольствием, весьма понятным в сложившейся ситуации, отметила, что давний недруг со времени последней встречи еще более постарел, обрюзг и вовсе уж неприлично раздался в талии. От военного прошлого остались выправка и синий уланский мундир, сшитый, естественно, под заказ.

Евдокия видела три подбородка, подпертых жестким воротником кителя, и золотой позумент. Аксельбанты. Руку, что небрежно возлежала на усыпанной драгоценными камнями рукояти сабли. Изысканно отставленный локоток, за который придерживалась супруга.

Залысины.

Пухлые щеки и тонкие, брезгливо поджатые губы.

Проигнорировав Модесту Архиповну, князь Вевельский все же остановился перед стендом фирмы «Модестъ». Ленивым томным жестом извлек он монокль, долго, старательно протирал стеклышко его платочком, причем Евдокия точно знала, что платочек сей благоухает лавандовой водой. Князь же поднес монокль сначала к правому глазу.

Скривился.

И переставил в левый, будто надеясь таким вот нехитрым образом увидеть нечто иное.

– Посмотрите, дорогая, – густой бас Тадеуша Вевельского перекрыл гомон выставки, – какая невероятная безвкусица…

Он снизошел до того, чтобы указать на гордость Модесты Архиповны: усовершенствованную модель «Вершины», исполненную в черном цвете. Лисий мех на сиденье был заменен куньим, куда более плотным и теплым. Завитушки и медальончики сияли позолотой, равно как и грифоньи лапы, сугубо декоративные, но весьма хищного вида, впившиеся в красную ковровую дорожку, что полотняным языком стекала с постамента. Пожалуй, сходство фаянсового кресла для размышлений – а именно так был назван унитаз, дабы не смущать неловким словом слух дам, – с троном было вовсе уж неприличным, но… народу нравилось.

– Кошмаг, – пролепетала княгиня, заслоняясь кружевным веерочком.

Модеста Архиповна, стоявшая тут же, так и осталась незамеченной, невзирая на то, что требовалась немалая сноровка, чтобы не заметить семь пудов живого веса, облаченных в аксамит и соболя. Однако факт оставался фактом.

– Неужели кто-то покупает подобное?

Князь ступил на дорожку.

…а ведь многие именно так и заказывали. Туалетную залу с постаментом на три ступеньки и дорожкой. Евдокия тоже не понимала этого, но разве не спрос рождает предложение?

И теперь ощущала острую обиду.

За маменьку.

За Лютика, который и сотворил «Вершину». И за себя, чего уж душой кривить…

– Пгосто ужас. – Княгиня разглядывала фаянсового монстра издали, с явным испугом, будто бы опасаясь, что сие создание вдруг да оживет.

Нижняя губа ее дрожала.

И веер в руке.

И сама она вся – от белого перышка, которым была увенчана сложная прическа, до каблучков изящных туфель.

– Ах, матушка, вот вы где… – раздалось веселое, и княгиня облегченно выдохнула. Она вцепилась в руку смуглого темноволосого мужчины с такой страстью, что Евдокии стало неудобно.

Напугала женщину…

…маменька говорила, что у высокородных дам нервы слабые, а тут унитаз с фаянсовыми рюшами и мехом. Стоит, морально давит.

– Догогой, – с явным облегчением воскликнула княгиня и, указав не то на унитаз, не то на Евдокию, сказала: – Посмотги, какой кошмаг!

Князь смотрел на «Вершину», Евдокия – на князя…

…нет, ей случалось видеть его портреты, верно, как и всем жителям королевства Познаньского, но чтобы живьем… и вот так близко… настолько близко, что Евдокия учуяла тонкий аромат его туалетной воды.

Сандал.

И, кажется, цитрус, популярный в нынешнем сезоне.

…костюмчик тоже, словно со страниц «Модника» взят. Белые брюки в узкую полоску и однобортная визитка с атласной бутоньеркой гридеперлевого оттенка. Пуговицы на рукавчиках рубашки черные. И шейный платок повязан широким узлом, к которому и Лютик не сумел бы придраться.

Да и сам князь… смуглявый, черноволосый… и волосы, наперекор всем правилам, отрастил длинные, носит, в хвост собравши. Черты лица резковатые, но благородные, утонченные.

…недаром Аленка с его портретом под подушкой спит.

Хотя сволочь. По глазам, черным, наглым таким глазам видно, что сволочь. Или это просто предчувствие такое? Впрочем, Евдокия предчувствиям доверяла, и нынешнее ее не обмануло.

– Уважаемая… – Княжич обратился не к Модесте Архиповне, которую, надо полагать, все семейство Вевельских не замечало принципиально, но к Евдокии. И одарив ее взглядом, каковой заставил почувствовать собственное несовершенство, сморщил нос: – Вы не могли бы это убрать?

– Куда?

Евдокия вдруг поняла, до чего неправильно она выглядит. Невысокая, крепко сбитая, с простым круглым лицом, в котором нет и тени аристократизма, столь желанного маменьке.

…и платье это дурацкое, с оборками и кружевами… Модеста Архиповна настояла: мол, переговоры предстоят, партнеры заявятся и надо бы выглядеть *сообразно*… вот и парилась Евдокия в нескольких слоях бархата, щедро расшитого золотом и янтарными бусинами, а на плечах еще и шуба возлежала в пол, почти как у маменьки… на шее ожерелье в полпуда с крупными топазами… в ушах – серьги…

Ленты в косе атласные, переливчатые…

Дура дурой.

И в башмаках на высоком, по последней моде, каблуке. В них-то Евдокия и стоять-то замаялась.

– Куда-нибудь, – пожав плечами, сказал князь. – Видите же, ваше… произведение искусства…

…улыбку эту репортеры любили, было в ней что-то хулиганское, диковатое…

– …весьма нервирует мою матушку.

– Чем же? – Евдокия заставила себя смотреть ему в глаза.

…черные какие, непроглядные.

Нет, она не такая дура, чтобы в ненаследного князя влюбиться. Она – девушка разумная, современная, отдающая себе отчет, чем подобная влюбленность чревата: разбитым сердцем, подпорченной репутацией и несколькими невинно утопленными в слезах подушками.

…а поговаривали, что из-за него, бессердечного, одна девица вены резала, а другая уксусом травилась, но, к счастью, не до конца отравилась. А из больницы и вовсе крепко поумневшей вышла, остриглась и удалилась от мира именем Иржены-заступницы добро творить.

Столь радикально менять свою жизнь ради эфемерного чувства Евдокия не планировала. Но до чего же сложно оказалось сохранить душевное равновесие. Дыхание, и то сперло. И щеки запылали, зарумянились… или то от жары? В шубе по летнему времени парило… Себастьян же наклонился, близко-близко, к самому ушку и доверчиво, нежно почти – со стороны, верно, сие выглядело совсем уж непристойно – произнес:

– Созерцание сего монстра доставляет несказанные муки ее эстетическому чувству… поэтому окажите уж любезность…

Евдокия, несмотря на непривычное волнение и щемящую, какую-то внезапную боль в груди, любезной быть не собиралась. Но, верно, Себастьян на то и не надеялся, оттого прибег к

иному средству. И часу не прошло после того, как чета Вевельских, сопровождаемая сыном и восторженными взглядами, удалилась от стенда фирмы «Модестъ», как появился учредитель. И кланялся, лепеча о новых обстоятельствах неодолимой силы, изменить каковые не в его власти при всем уважении, которое лично он испытывает к Модесте Архиповне…

…к вечеру стенд убрали.

Сволочи.

В общем, то самое знакомство, мимолетное, как краковельская весна, оставило в душе Евдокии глубокий шрам. Раненое самолюбие ныло по ночам и еще на осенние дожди, заставляя мечтать о несбыточном. В этих ее мечтах, несмотря ни на что по-девически стыдливых, неизменно фигурировал растреклятый ненаследный князь, который стоял на коленях, умоляя…

Как правило, на этом месте мечты обрывались. Все же Евдокия была настроена к делам сердечным скептически. И этот скепсис порой здорово мешал жить.

Или помогал?

Она так и не решила.

Как бы то ни было, но злосчастная выставка несколько подпортила репутацию фирмы. К счастью, основная масса краковельчан не разделяла тонкого вкуса княгини, а потому пошатнувшаяся было торговля весьма скоро наладилась…

Жизнь тоже.

Ну, более или менее…

…и все-таки день, который начался с Себастьяна Вевельского, просто по определению не мог пройти спокойно. Эта примета, пусть существовавшая исключительно в воображении Евдокии, срабатывала всегда. И она, демонстративно повернувшись к ненаследному князю спиной – игнорировать его, рисованного, было куда проще, нежели живого, – сняла рубашку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.